

струкция, а суровая скала над бурным морем, курится туман, звучит арфа, и внемлет зритель, как Фингалу — не в рваных джинсах, а в блистающих доспехах, — доверчиво Моина открывает не плоть, одеждой скрытую, а трепетное сердце. Не сорвется ли с уст зрителя вслед за поэтом:

И для меня явление Озерова —  
Последний луч трагической зари.

---

ПОРТРЕТ ПОЭТА

---

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

«В НЕБОСКРЕБНО-  
БЕТОННОМ РАЮ —  
ПТИЦЕЙ НА ВЕТКЕ  
ТЕМНОЙ»

К 90-летию поэтессы  
Валентины Синкевич

Название этих заметок — строчка из стихотворения Валентины Синкевич. В ней, как мне кажется, она сказала о себе предельно точно, хотя и с помощью метафоры. Она — птица, сидящая на «ветке темной» в «небоскребно-бетонном раю». Есть здесь отчуждение от окружающего благоустроенного, но чужого рая, в который она попала после адища войны и подневольной работы в Германии, но есть и еще кое-что, очень важное для понимания этой личности. Валентина Алексеевна Синкевич, поэтесса, эссеист, одна из немногих оставшихся в Америке представителей второй волны русской эмиграции, не равнодушна к природе. В стихотво-

---

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист, редактор интернет-журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. Публиковалась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах «Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожидании чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс» (2013), «Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик» (2014). Живет под Вашингтоном.

рении, мне посвященном, она сравнила меня с «птахом», летящим из каменного города в зелень сада. Вот и она — как этот птах. Сейчас, в свои почти 90, ей трудно двигаться, а так обычно она высаживает возле своего деревянного дома в черном районе Филадельфии грядку томатов и всякой другой зелени. Высаживала до последнего, до того, как практически перестала нормально ходить, да и руки начали отказывать.

Привечает она не только растения, но и всякую живность. Знаю, что таким был ее отец, не убивший в своей жизни даже мухи и передавший эту черту ей и ее старшей сестре Ирине. Отец прожил недолго, умер до войны, родом попович, юрист по образованию, после революции он из юриспруденции, ставшей ненужной или исключительно карательной, ушел в школьные учителя математики. Они с женой и двумя девочками оставили Киев (место, где Валя родилась) — там их знали как поповского сына и дочь генерала, а эти сословия подвергались уничтожению — и «забились в щель» в неприметном маленьком Остре.

Когда я собирала материалы о Марии Маркович, писательнице Марко Вовчок, в молодости ставшей чуть ли не классиком украинской литературы, в какой-то книжке прочитала, что она с мужем, украинским учителем, некоторое время жила в Остре. Помню, мы с Валею этому обстоятельству обрадовались обе, я, скорей всего, даже больше, чем она. Я ощутила, что этот почти былинный Остер был реальным городом, с другой стороны, в нем некогда жила неординарная личность, будущая писательница и близкая знакомая Тургенева — Мария Александровна Маркович. Сам Бог велел Вале провести детство в таком уже обжитом «украинским классиком» месте.

Отец Вали обладал красивым голосом — басом, в свое время окончил Киевскую консерваторию, знал много арий и пел их в ее скудном полуголом детстве.

Не отсюда ли ее особое отношение к опере? А еще она говорила о нем, что он сказал своей семье, что если там, за гробом, что-то есть, он найдет способ оповестить их об этом. Пока, как свидетельствует дочь, не оповещал. Но ведь и жизнь ее еще не кончилась.

Мы с Валею очно друг с другом не знакомы. Встретиться пока не получилось, и не знаю, получится ли. Но я считаю ее самым близким другом здесь, в эмиграции, вдали от России. На протяжении многих лет наши телефонные разговоры были ежедневными и долгими. Обе отводили душу. Сейчас, когда на мне журнал, — а Валя знает, что это такое, так как сама почти 30 лет редактировала поэтический альманах «Встречи», — мы разговариваем реже. И звоню теперь чаще я, беспокоюсь, как она и что. Живет она одна с четырьмя своими кошками, собака Шерка, овчарка, когда-то спасенная Валею от бессердечных хозяев, погибла несколько лет назад. Погибла у нее на глазах, жутким образом...

Когда еще Валя была в силах, лет пять назад, она по ночам выходила со своими зверятами гулять. Впереди шли они с Шеркой — собаку хозяйка держала на поводке, а сзади гуськом двигались друг за другом шесть или семь кошек. Эх, не было рядом фотографа или кинооператора. Какую сцену они упустили! Даже представив ее со слов Вали, я начинаю смеяться. Смеемся обе. Валя любит посмеяться, у нее чудесное чувство юмора, но вообще-то она и «грозной» может быть, я это на себе испытала...

Продолжая разговор о Валиных «зверях», скажу еще вот что. Как-то в интервью она сформулировала важную для нее мысль, я ее потом поставила в заголовке: «Любая жизнь дороже произведения искусства». Я над этим все время размышляю. Все же в конце 1920-х — начале 1930-х в Советской России распродавали картины Эрмитажа, с тем чтобы на полученную валюту накормить страну, технически ее оснастить. Национальная галерея искусств в Вашингтоне наполнена эрмитажными шедеврами, купленными за большие деньги американским банкиром Меллоном.

«Мадонна Альба» Рафаэля, «Венера перед зеркалом» Тициана, Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк, полотна великих, в XVIII веке собранные по всей Европе по поручению Екатерины Второй для эрмитажной коллекции, в XX перекочевали в музей Вашингтона.

Советское правительство получило необходимую валюту.

Я не уверена только, что была она потрачена на спасение жизней...

Тут еще вот какой поворот. Когда сегодня в потрясающей Вашингтонской галерее я стою перед рембрандтовским «Портретом польского дворянина» (1637), то в голову приходит, что в этой картине даже не одна жизнь, а несколько. Гениальный, чувствующий прилив сил 31-летний художник дал этому шляхтичу вторую жизнь, вернее, бессмертие, но и сам поделился с ним своей. В лице этого и сегодня узнаваемого типажа столько страдания и муки, несмотря на богатую шубу и цепочку, словно автор портрета, когда его писал, предчувствовал и вкладывал в полотно свою собственную судьбу: смерть Саскии, разорение, нищету.

А сколько вокруг этого поляка путешествий? Сначала он в лихое беспокойное время должен был достичь Голландии, потом попасть в мастерскую Рембрандта, а уже после законченный портрет проложил свой маршрут из Голландии — через Польшу (?) — в Россию, а оттуда в Америку. Разве это не жизнь? Не судьба? Хотя... все это можно назвать софистикой. Я хорошо понимаю Валю, готовую отдать любую картину, чтобы спасти от гибели живое существо. Хорошо понимаю.

Долгое время мы с Валей спорили, кто из нас первый начал знакомство. Она утверждала, что она — после моей статьи о Марине Цветаевой и Муре, опубликованной в «Новом журнале», — я считала, что я. Про ту статью она говорила, что не согласна с моим «оправданием» сына Марины, Мура. По ее мнению, оправдывать его не стоило, но она поняла, что мною руководит жалость к этому избалованному матерью мальчику, чья судьба была непоправимо искалечена сначала приездом в СССР, потом войной. И вот тут, — говорит Валя, — я вам и позвонила.

Я же помню другое. Начав печататься в «Новом журнале», я сразу обратила внимание на статьи и эссе некой Валентины Синкевич. Они выделялись интонацией — заинтересованной и добросердечной, даже простодушной, — а еще основательностью и доскональностью, при которых понимаешь, что автор все свои слова взвесил и проверил, ошибки у него быть не может. Что-то похожее я находила раньше в работах Лидии Корнеевны Чуковской, а затем ее дочери, Елены Цезаревны, Люши. Комментарии обеих с указаниями дат, имен и событий можно было считать образцовыми и не обращаться после них к справочникам...

Особенное впечатление произвела на меня статья Валентины Синкевич об американской паре Роберте и Сюзэн Масси, писателях, чьей темой была Россия. Автор статьи побывала у них в доме и взяла интервью, показавшее мне чрезвычайно интересным. Впоследствии Валя не раз вспоминала свое посещение этого семейства американских романистов, написавших (вместе? порознь?) несколько бестселлеров с русской тематикой, но как-то быстро потом разбежавшихся и вроде бы чего-то не поделивших друг с другом (славы?). Она вспоминает, что весь тогдашний разговор, обстановку в доме, все названия книг она восстанавливала по памяти.

Память у нее действительно очень цепкая и точная. Она, эта память, много хранит и далеко не все позволяет вытаскивать на поверхность. Впрочем, здесь дело не в памяти, а в самой Валентине Алексеевне. Мне кажется, некоторые вещи она не скажет даже под пыткой. Так, очень мало она говорит о своем раннем, еще в Германии, замужестве. Общие слова. Был он много ее старше, по профессии ана-

том и средней руки художник, какой-то маленький пост занимавший в дипийском<sup>1</sup> лагере, где они оба оказались сразу после войны, неустроенные, без определенного будущего. Думаю, что пленился этот человек Валиной юной прелестью и красотой (уже гораздо позже на Валю «положил глаз» Иосиф Бродский; даже судя по фотографиям, она долго оставалась очень хороша). Дипийский знакомец грозил: если не выйдешь за меня, покончу с собой. Деться, в сущности, было некуда. Двадцатилетней одинокой девушке — «перемещенному лицу» — ничего не светило. Валя сдалась, хотя потом всю жизнь об этом сожалела. Мужа не любила, а девочка, дочь, получилась на него похожей, внешне и внутренне. С мужем она расстанется уже в Америке, куда вместе с трехлетней Анютой вез их из Германии старенький пароход «Генерал Балу».

Чуть охотнее, но тоже далеко не все, рассказывает Валя о многолетнем своем друге, художнике Шаталове, отношения с которым были очень неровными, сложными; его тяжелое обожание, со вспышками ревности, депрессией, уходом в известную русскую болезнь, вольнолюбивой, гордой и чуткой душе выдержать было непросто.

К тому же в Вале проклюнулся поэт, который, как кажется, жил в ней с самого детства. Любовь к стихам продолжалась и в дальнейшем. Годы, проведенные в Германии, где Валя оказалась во время войны, в 15 лет отправленная семьей взамен старшей сестры с надеждой, что такого «заморыша» немцы отбракуют, в счет не идут. Там была тяжелейшая работа на выживание в домах немецких бюргеров. Зато потом, в дипийском лагере, когда война закончилась и чуть отпустило, страсть к чтению взяла свое. Валя жадно набросилась на издаваемые в послевоенной Германии книжки русских авторов. А потом везла их с собой на изводившем болтанкой пароходе. Согласитесь, не каждый возьмет с собой, отплывая в неизвестность, в непонятную Америку, среди вороха скудного барахла, кипу тоненьких, плохо сброшюрованных книжечек дипийских поэтов. Валя взяла.

В Америке пришел черед собственных стихотворных опытов. И вот странность! Володя (так звала она Шаталова) ревновал ее к стихам... В отличие от очень многих, он сразу увидел в ней поэта. А я думаю вот о чем: сомневающийся в своем даре Шаталов в некоторых работах представляется мне едва ли не гениальным. Таков его Гоголь, таковы Валины портреты, их, по ее словам, множество.

Впрочем, я сбилась с темы — продолжу о нашем с Валей знакомстве.

Несколько раз, когда к нам в Бостон приезжал Игорь Михалевич-Каплан, редактор альманаха «Побережье», я просила его передать привет Валентине Синкевич. Они с Валей живут в одном городе — Филадельфии, а в ту пору тесно общались.

Было это году эдак в 2005—2006-м. Пришел очередной годовой сборник «Побережья», я его открыла. Нашла свой рассказ, а прямо среди его текста, на развороте, целую страницу занимал замечательный портрет Валентины Синкевич работы Шаталова.

Это был не тот наиболее известный ее портрет, где черты несколько схематизированы, а другой — живой, на фоне чего-то весеннего и цветущего. Портрет, который мог написать только влюбленный в свою модель художник. Так совпало, что этот поразительный портрет прелестной женщины с узкими глазами (он сразу мне напомнил сиенских узкоглазых мадонн!) оказался в тесном соседстве с моим рассказом. Я решила, что это указание. Написала письмо, узнала у Игоря адрес, отправила. Впереди у Валентины Синкевич был 80-летний юбилей, вот с ним я ее и поздравляла.

Весь прошлый год Валентина Алексеевна занималась своим архивом, перебирала, перечитывала и систематизировала старые письма. За 10 лет нашего с ней

<sup>1</sup> Лагерь для перемещенных лиц.

знакомства, наверное, собралась небольшая кучка эпистол и от меня. Должна была найтись и та первая открытка, с которой я, тогда неизвестный ей человек, поздравляла ее с 80-летием и писала, как мне нравятся ее эссе и интервью (стихи Валентины Синкевич были мне в ту пору неизвестны).

Впрочем, когда она через некоторое время позвонила, выяснилось, что меня Валентина Синкевич тоже заметила — выделила среди авторов «Нового журнала». Мы говорили о Цветаевой, о ее судьбе, о ее сыне Георгии-Муре. Гораздо позже очень похожие на Валины мысли по поводу Мура высказывала мне тесно связанная с семьей Эфронов Руфь Борисовна Вальбе. В отрочестве она знала Георгия, наблюдала за ним, поражалась его легкомыслию и отсутствию желания помочь, например, больной тетушке, Елизавете Яковлевне Эфрон: ни разу не принес ей даже булки из магазина. На это я отвечала, исходя из мальчишеской психологии, изученной на примере собственного сына. Разве может мальчишка, к тому же сын поэта, да еще прибывший из Парижа, ходить с авоськой по магазинам? Да он скорее умрет, чем возьмет эту авоську в руки...

Вообще Валя очень хорошо понимает людей. Угадывает сердцевину и уже потом редко когда меняет свое мнение о человеке. Пройти у нее проверку нелегко. И поначалу мне казалось, что я ее не прохожу. Валя словно испытывала меня, поддевала, говорила что-то резкое, я обижалась, казалось, отношения прерваны навсегда... Потом она или я не выдерживали — следовал звонок. И после неловкой паузы или путаных объяснений мы продолжали прерванный разговор... Был он, как правило, о литературе, быт занимал мою собеседницу мало, и когда я спрашивала ее о самочувствии и есть ли у нее еда, она от этих вопросов отмахивалась. Ее интересовали дела «на поприще бумажном», как в шутку называла она литературные будни, это словосочетание употреблял один из полуграфоманских поэтов, когда-то пытавшийся прибиться к ее «Встречам».

Не я одна замечала Валину начитанность, грамотность, знание малоизвестных поэтических имен, писательских судеб. В ее архиве переписка с критиком-русистом Владимиром Марковым, славистом Вольфгангом Казаком, она на равных общалась с профессорами-русистами Леонидом Ржевским, Иваном Елагиним, Борисом Филипповым, Вадимом Крейдом, Анатолием Либерманом! Выдержки из черновиков некоторых своих писем к ним она мне читала. Никакой робости в общении со «сливками» филологической науки у нее не было. То есть, возможно, она и была, но Валя ее преодолевала. В итоге оказывалось, что ее жизненные «университеты» наделили ее образованием, ничуть не уступавшим полученному ее адресатами в реальных заграничных университетах.

Ей, оказавшейся в Германии девчонкой, было не до учения. Откуда же в ней это достоинство, эта неплебейская повадка, эти знания? Насчет повадки — она, видимо, наследственная, от родителей. Но и все остальное берет начало там же — в семье. Хоть и скудным было их житье-бытье в Остре, родители заботились об образовании дочек. Образовывала и воспитывала сама атмосфера дома, культ книги. Вывезти книги из Киева родители не смогли. Но рядом в Остре жили бывшие соседи с богатой библиотекой, которую Ирина и Валя «осваивали». К своим пятнадцати Валя перечитала несметное число книг. Не будем забывать и последующего самообразования.

После полета первого советского спутника в 1957-м знание русского языка стало в Америке приветствоваться. Валю взяли на квалифицированную работу в Филадельфийскую библиотеку. В качестве библиографа заполняла карточки, отвечала на читательские звонки, а в промежутках в своем закутке и дома по вечерам

роскошествовала — читала книгу за книгой, впитывала новое, а заодно и совершенствовала свой английский. Знает она язык блестяще, хотя начала свою американскую одиссею не такой уж юной, в 24 года.

Вот тут нужно сказать, что, в отличие от очень многих наших соотечественников, Валя не только любит Америку, давшую ей кров в тяжелый час, но ценит и хорошо знает ее культуру. В молодости с рюкзаком за плечами, в котором лежали баночки с детским питанием — много ли нужно поэту? — путешествовала по всей стране, посещала заповедные места, давшие Америке и миру Вашингтона Ирвинга и Натаниела Готорна, Генри Лонгфелло и Фенимора Купера, Эдгара По и Уолта Уитмена...

Знание английского пригодилось для подработки в больницах — ей как особо квалифицированному переводчику платили по высшей ставке, — а также для написания небольших рецензий и обзоров для американских журналов, где тоже платили хорошие деньги. Деньги были нужны, и Валентина, не ленясь, зарабатывала их для семьи, теперь уже не уборкой квартир и стоянием за кассой, как в первое время после приезда в Америку, а престижным и интересным для нее делом. А потом прибавилось и сотрудничество с ежедневной газетой «Новое русское слово», куда Валя регулярно направляла стихи, и редакторская работа над поэтическими альманахами «Перекрестки» (1977–1982) и «Встречи» (1983–2007).

Уже гораздо позже английский понадобится ей для преподавания. В Филадельфийской школе для взрослых в течение многих лет она будет вести курс русской литературы для американцев. Когда его вел старенький профессор-американец, был этот курс провальным, никто его не посещал, он не вызывал интереса. Кто-то посоветовал администрации взять взамен профессора Валу. И вот эта не кончавшая университетов женщина сделала лекции по русской литературе едва ли не самыми посещаемыми. Если не ошибаюсь, уступали они только лекциям по современной политике. Сколько интересных впечатлений приносили ей эти еженедельные занятия! Как поднимали дух, как веселили! Ученики под руководством Вали читали «Войну и мир» Толстого, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, чеховские рассказы, повести Пушкина и Тургенева, а однажды даже «Тяжелый песок» Рыбакова.

Тут случилось непредвиденное. Несколько человек в Валиной группе отказались обсуждать этот текст из-за его еврейской темы. Респектабельный господин, который обычно возил ее на занятия, посещать уроки перестал. Валя выдержала столкновение с этими людьми, от книги не отказалась. Я поддерживала ее в сражении с антисемитизмом, пусть и не масштабным, единичным.

В этом смысле Валя — человек удивительный. В ее окружении люди разных национальностей и вер. Живет она в негритянском квартале, кстати, очень опасном, почти каждый вечер там стреляют... Валя с болью вспоминает про дискриминацию, которую еще застала; приехав в Америку, видела своими глазами эти надписи в автобусах и на сдаваемых домах: «Не для черных». И эти уроки не стерлись в ее памяти, как стерлись в сознании многих американцев. Когда мы с нею обсуждаем то тут, то там возникающие конфликты между белыми и черными, она неизменно учитывает то, что черная сторона «потерпевшая».

В самом начале нашего знакомства я несколько раз «обжигалась». Однажды, открыв для себя Маркиза де Кюстина, начала зачитывать по телефону наиболее интересные куски из него. Валя меня прервала и строго сказала, что больше слушать не намерена, и даже трубку бросила — так сильно ее ранило написанное французом. Она не хотела слушать его критику России. Я была обижена, но больше с Кюстином к ней не приставала.

Корни этого отношения я поняла позже.

Валя — патриотка. Все, что касается России, для нее горячо — обжигает, хорошее воспринимает с воодушевлением, плохое — с негодованием. Но плохого она больше находит в Америке, и когда я начинаю говорить о темных пятнах России, она меня урезонивает: «А что, в Америке все в порядке? Продают оружие чуть ли не младенцам, а те стреляют и попадают, иногда даже в своих матерей». Если я начинаю разговор о российском лидере, то Валя всегда встает на его защиту. Он, по ее мнению, помогает безумцам американцам выпутаться из тяжелых внешнеполитических ситуаций. Валю волнуют все мировые проблемы, расовые конфликты, приток беженцев в Европу. Она слушает известия и всегда первая доносит до меня американские, а часто и международные новости.

Валя из второй — военной — эмиграции. Это те советские люди, которые по каким-то причинам оказались во время войны на территории Германии: попали в плен, перебежали к врагу, были насильственно увезены с оккупированной территории. Она очутилась в Германии в юном возрасте и именно по этой третьей причине. Несмотря на хилость, девочку-подростка не отбраковали, на что был расчет, а отправили работать на райх, то есть на жителей, желавших иметь даровую работницу.

Но во второй эмиграции, обосновавшейся после войны за пределами Советского Союза, — а это было великое рассеяние по всем странам и уголкам земли: Валина подруга Люся Оболенская-Флам, тогда Чернова, после войны попала с семьей аж в Марокко, — так вот, во второй эмиграции было достаточно и перебежчиков, и освобожденных союзниками военнопленных, и пособников нацистов. Многим из них не удалось избежать послевоенной депортации в Советский Союз — по предательскому Ялтинскому соглашению, заключенному Сталиным с Черчиллем и Рузвельтом. Вернувшиеся в СССР — как и предполагали наиболее прозорливые, всеми способами, вплоть до самоубийства, стремившиеся избежать возвращения, — оказались в советских сталинских лагерях, а кто-то был расстрелян. Валю и еще нескольких из будущего ее окружения, с которыми ей доведется работать в альманахе, судьба пощадила. Дряхлый и ревматичный, скрежещущий всеми своими суставами «Генерал Балу» увез группку «русских дипийцев» из Гамбурга и высадил на американском берегу.

Однако «шлейф» за ними тянулся, Советы на всех невернувшихся навесили ярлык предателей.

Долгое время их не знали и не печатали в России. Они жили крохами, попавшими в советскую печать, радовались статьям, где ненароком упоминались их имена. Как обрадовался Леонид Ржевский, профессор-славист, чья нью-йоркская литературная гостиная стала родной для Вали, когда встретил свою фамилию в советском журнале! И ему было неважно, что критик его уколол. Все равно была у него счастливая минута — на родине о нем вспомнили, пусть и недобрым словом!

А Елагин... Неоднократно слышала от Вали, как умирающий Иван Елагин, лежавший в доме у Шаталова, силился вспомнить, кто из больших советских режиссеров недавно похвалил его стихи! Валя, бывшая тут же, подсказала: «Ваня, это Любимов!» То был Юрий Петрович Любимов, приехавший на гастроли в Америку и в какой-то аудитории с одобрением упомянувший Елагина.

«Нас в России называли врагами, предателями», — это я часто слышала от Вали о второй эмиграции. В своей замечательной мемуарной книге «Мои встречи. Русская литература Америки» (Владивосток: Рубеж, 2010) Валя рассказала о своем поколении в общем и о своих братьях в частности. Судьба поколения — драматическая, многие прошли через фронт и лагерь, через подневольный труд. После

войны они по большей части сменили имя и фамилию, создали себе биографию «легенду», чтобы не быть депортированными в СССР в качестве бывших советских граждан. В своей книге Валя раскрывает источник многих псевдонимов и реальные имена тех поэтов, что печатались в ее альманахе. ...Иван Елагин (Матвеев) взял себе псевдоним, увидев на стене фотографию Елагина моста, Ольга Анстей (Штейнберг, затем Матвеева) позаимствовала псевдоним у любимого с детства английского писателя Франка Анстея (Энсти?), Леонид Суражевский стал Л. Ржевским, так как родился подо Ржевом, Бориса Филиппова считали потомком «тех самых булочников Филипповых», на самом деле фамилию эту он «присвоил»... Валентина Синкевич прекрасно знала тех, кто печатался в ее «Встречах», по правде говоря, все осевшие в Америке поэты, пишущие на русском, помещали у нее стихи. Единственное исключение — Бродский.

Была она в год его приезда в Америку уже не так молода. Она рассказывала, что когда увидела его в первый раз, приехавшего к его переводчику Клайну в Брун Маури Колледж под Филадельфией, был он рыжим, ярким, очень привлекательным, одет был по-молодежному в свитер. Клайн посадил его рядом с Валей, и весь вечер он говорил только с ней, игнорируя всех прочих, что Вале очень не нравилось. А потом не сам, а опять через того же Клайна, пригласил ее в ресторан. И Валя отказалась. До сих пор это составляет предмет ее гордости. Она рада, что не попала в донжуанский список Бродского. Мне это тоже приятно, я тоже горжусь, что Валя не стала одной из... в этом длинном реестре. Не сомневаюсь, что многие со мной не согласятся. Спорить не буду. Вопрос личного выбора. Спустя несколько лет, встретив Валу и быстро на нее взглянув, он сказал что-то типа: «Да, годы нас не красят». Сам он за это время облысел и потерял ту молодость, которая так понравилась Вале при первой встрече. Так что она, прямо на него глядя, ответила ему в тон: «Не красят, Иосиф Александрович!» Валя всегда умела отвечать.

Наиболее близкими к Вале поэтами второй эмиграции были Иван Елагин и Ольга Анстей. Сейчас Валя чудом отыскала их дочь Лилию (Елену), уже не очень молодую женщину, всю жизнь проработавшую медсестрой, но по-прежнему помнящую наизусть все стихи отца. Валя загорелась мыслью опубликовать собственные Лилины стихи в альманахе Раисы Резник «Связь времен» и взять у нее интервью об ее семье, о матери, с которой Лиля жила в Нью-Йорке после развода родителей. Ольга Анстей ушла от Елагина из-за любви к другому. Этот другой был белый офицер, «первоэмигрант», князь Владимир Кудашев. Был он женат, и союза у них с Ольгой не получилось. Но эта роковая, разбившая жизнь Ольги любовь родила цикл прекрасных, полных драматизма стихов. О романе Анстей и Кудашева знали немногие, среди этих немногих Валя. Ей верили, доверяли свои тайны, находили у нее сочувствие.

Наум Моисеевич Коржавин в разговорах со мной в разные годы называл Валу одинаково: «Хорошая женщина». Она и была всю жизнь хорошей, зорко видела чужие недостатки, но при этом ценила и выделяла достоинства, относилась к друзьям с любовью и пониманием. Про Елагина Валя неизменно говорит доброжелательно, любовно зовет его Ваня, а ведь было время, когда он два года с ней не разговаривал — обиделся. Обиделся как поэт, Валя опубликовала во «Встречах» его стихотворение с небольшим искажением. У Елагина было:

На всех перекрестках мира  
Гуляет их солдатня,  
На всех перекрестках мира  
Они убивают меня.



Валя, получив стихи и не очень разобрав елагинский почерк, напечатала на своей старой машинке, а потом поместила во «Встречах» вместо «убивают» «распинают». Поэт возмущился. Он был недоволен его отождествлением с Христом. В наших с Валею разговорах я пыталась доказать, что «распинают» лучше, значительнее, чем «убивают», что сопоставление с Христом не вредит стихам, чему есть примеры, но Валя Елагина оправдывала. Она считала, что его непримиримость объяснялась влиянием очень религиозной Ольги Анстей. Та такого «кошунства» не могла допустить.

А умирал Елагин, еще не понимая, что это конец, в Филадельфии, в доме у своего друга, Владимира Шаталова. На стене перед ним висел портрет Гоголя, на нем Гоголь — как встревоженная, кем-то вспугнутая птица, о чем и написал поэт в своих стихах, посвященных другу-художнику:

И Гоголь тут — такой, как есть,  
Извечный Гоголь, подлинный,  
Как птица, насторожен весь,  
Как птица, весь нахохленный.

Самое свое последнее стихотворение, прощальное четверостишие, Иван Елагин оставил ей, Вале, чтобы она опубликовала его во «Встречах» в случае его смерти — он еще надеялся на выздоровление. И она опубликовала. Выпуск «Встреч» за 1987 год начинался стихами:

Здесь чудо все: и люди, и земля,  
И звездное шуршание мгновений.  
И чудом только смерть назвать нельзя —  
Нет в мире ничего обыкновенней.

Если продолжить тему друзей, то из старого круга, круга второй эмиграции, возле Вали остались только два человека. Это художник и эссеист Сергей Голлербах и радиожурналист, а ныне писательница Людмила Оболенская-Флам. Сергей Львович, живущий в Нью-Йорке, перезванивается с Валею каждый день, делится впечатлениями от проведенного им дня. Будучи на год старше Вали, он, однако, не потерял подвижности и, несмотря на слабое зрение, посещает многолюдные собрания с речами и угощением. Ни к тому, ни к другому Сергей Львович не утратил интереса, да и рассказывать о произнесенных им спичах и испробованных деликатесах умеет и любит. Прекрасный художник и эссеист, Сергей Голлербах вызывает восхищение окружающих не только своими работами, но и редким жизненным и бодростью.

С Людмилой Оболенской-Флам мы ныне, после переезда в Большой Вашингтон, оказались соседями. Они с мужем живут в маленьком зеленом городке Гринбелт, вблизи американской столицы. «Она очень правильная», — говорит Валя о младшей подруге. Раньше, когда были моложе, они хоть и нечасто, но встречались: на вечерах, поэтических чтениях, устроенных «Новым журналом», сейчас их связывает только телефон, — и стоит ли добавлять, что в разговорах двух подруг прибавилось горечи, недугов, смертей...

Я поражаюсь Вале, она в свои почти 90 живет одна. К ней приходят для уборки простые женщины из Западной Украины, дальняя родственница раз в месяц привозит продукты, вот и вся помощь. Валя говорит, что хочет протянуть в одиноче-

стве столько, на сколько хватит сил. Перспектива, что кто-то для оказания помощи поселится в ее маленьком домике, ее пугает.

— Ируся, у меня нет места для еще одного человека. Потом кошки. Не все их любят. Я ведь к тому же еще работаю, у меня свой распорядок. И знаете, Ируся, не хочу, чтобы мною командовали. Я пока еще в своем уме и хочу жить по своей воле.

И правда, Валя живет по своей воле — работает, занимается тем, чем занималась всю вторую половину своей жизни, — пишет для журналов. Сейчас несколько журналов заказали ей статьи, их нужно написать к сроку. Распорядок у нее в самом деле свой. После гибели Шерки, которую — хочешь не хочешь — нужно было выводить в определенные часы, Валин распорядок стал напоминать «день Онегина». Спит она мало и в основном утром или днем. Ночь — для чтения и писания. Прошлой весной вдруг вновь стали слагаться стихи, которых давненько не было, началась, как я ее окрестила, «Филадельфийская весна». Стихи хлынули посреди архивных занятий — Валя разбирала скопившуюся за жизнь переписку. И вдруг... «Ируся, опять пришло стихотворение. Не хотите послушать?»

Неоднократно слышала: «Я, Ируся, с друзьями ссорилась не из-за себя, всегда защищала других». Это так, могу подтвердить. Валя выступает на защиту, не думая о том, что сохранение нейтралитета было бы для нее удобней, полезней, просто комфортней. Что ей Гекуба? Но нет, вступается, пытается помочь. Из-за этого возникает конфликт с тем, от кого защищает. Так однажды поссорилась из-за Евтушенко...

К Евгению Евтушенко у Вали отношение трепетное. Когда-то, в начале 1960-х, была она на его концерте в Нью-Йорке вместе с друзьями-поэтами. Приехали впятером, а поскольку зал был забит да и билеты стоили дорого, сидели на одном стуле по очереди — каждый по десять минут. Посреди вечера объявили тревогу, якобы в зале заложена бомба. Полиция, очистив помещение от людей, начала обыскивать зал. Бомбу не нашли. Вечер продолжился. Евтушенко был в ударе, читал отменно, как всегда, очень артистично. Одет был тоже, как всегда, во что-то яркое, даже пестрое.

Валя запомнила, как он в конце вечера, отвечая на вопросы, назвал двух известных ему живущих в Америке поэтов эмиграции — Ивана Елагина и князя Иоанна Шаховского, писавшего под псевдонимом Странник. В другой раз, на концерте в Филадельфии, вопрос ему задала уже она. Речь шла о ходившем в эмиграции по рукам анонимном стихотворении «Письмо из Парижа», где были строчки, обыгрывающие название сборника Георгия Адамовича «Одиночество и свобода»:

Георгий Викторович Адамович,  
а вы свободны,  
когда один?

Валя спросила Евтушенко, не он ли автор этих стихов. Поэт кивнул утвердительно и внимательно на нее посмотрел. Он ее запомнил. И даже посвятил ей стихи. Я их здесь приведу. Они называются «Филадельфийский портрет».

### **Евгений Евтушенко**

#### **ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ПОРТРЕТ**

Вижу я, что была она так хороша,  
а морщины, как ярусы ада,  
через кои красавица Валя прошла,  
о которых сегодня не надо.

Не хотел бы, а все-таки вижу насквозь  
жизнь, где слышала ты «Швайн!» и «Сучка!»  
Как «прелестно» тебе в двух фашизмах жилось,  
генеральско-поповская внучка!

Комом слово Ди-Пи застревает во рту.  
Вижу,  
сам безнадежно седеющ,  
ту историю, что я нигде не прочту,  
и весь ужас ее, и ее красоту  
на лице Валентины Синкевич.

25 января 2005

И в свою антологию «Строфы века» Евтушенко ее включил. А Валя в годы, когда поэт был почти забыт на родине, жил в американской глубинке и далеко было до его нового героического рывка, написала о нем статью — с разбором стихов, с искренним восхищением. В тяжкий период свалившегося на Евгения Александровича тягучего несчастья-нездоровья Валя своими редкими, но целительными звонками в Талсу, думаю, очень ему помогла.

В Москве у Вали много если не близких друзей, то почитателей. Все они группируются вокруг Дома русского зарубежья, возглавляемого Виктором Москвиным, там Валу уже после перестройки несколько раз радушно принимали, там устраивали ее творческие вечера и делали посвященные ей выставки. Недавно Дом русского зарубежья выпустил невиданное издание — «Валентина Алексеевна Синкевич. Материалы к библиографии...». М., 2014. Книга мгновенно стала раритетом, так как вышла мизерным тиражом. Но с какой любовью и каким тщанием она составлена (составитель Г. Евдокимова, общая редакция и предисловие О. Коростелева, идея и руководство Т. Королькова)! Как издана, на какой бумаге, да еще и с указателем имен! Валя может гордиться этим уникальным изданием, где приведена роспись всех ее стихов и статей с 1977-го по 2007 год.

А я могу гордиться тем, что получила эту книгу от Вали одна из первых.

Расскажу о Валиных стихах.

Началом своего поэтического пути Валя обязана Якову Моисеевичу Цвибаку (литературный псевдоним — Андрей Седых), талантливому журналисту, в молодости — секретарю Ивана Бунина, издававшему в Нью-Йорке популярную ежедневную газету «Новое русское слово». Он первый увидел в Валентине Синкевич поэта, начал печатать, привлек к своей газете, она стала своей в редакции. Добавлю, что, ценя Валину поэзию, Яков Моисеевич, слывший с молодости бонвиваном, наверняка радовался и общению с привлекательной и умной молодой женщиной. В архиве хранится его письмо 1973 года к Роману Гулю, где он посылает на отзыв коллеге, издателю «Нового журнала», «книжечку очень талантливой поэтессы Валентины Синкевич». Он пишет: «Мне очень хочется, чтобы на нее обратили внимание, — нельзя же все Блок да Есенин...». В том же письме Яков Моисеевич просит Гуля напечатать в «НЖ» одно стихотворение Синкевич. Оно по стилю не подходит к тем трем, которые он собирается печатать в «Новом русском слове». Меня умилило, что, видимо, не слишком веря в то, что Гуль решится напечатать малоизвестную

поэтессу, Яков Моисеевич просит в этом случае прислать стихотворение назад, он его напечатает сам в другом номере своего журнала. Бесценный документ. Находка тогдашнего аспиранта из Йеллы Яши Клоца была неожиданностью и для самой Вали. Она как бы получила привет от Якова Моисеевича из другого мира. Вспоминает она его всегда с благодарностью. И — кстати говоря — очищает его имя от домыслов. Яков Моисеевич Цвибак не только никогда не был выкрестом, как написал о нем один живущий в Америке литератор, но и утверждал в разговоре с Валей: «... быть евреем — судьба, и нередко тяжелая. Мы не любим тех, кто от нее уходит» (см.: Валентина Синкевич. Мои встречи. Русская лира Америки).

Если продолжить тянуть за ниточку письма Якова Цвибака к Роману Гулю, то надо сказать о двух моментах. Первый. В дальнейшем, после смерти Якова Моисеевича, Валя печаталась почти исключительно в «Новом журнале». Он, как и «Новое русское слово», стал для нее родным домом. При редакторе Вадиме Крейде и при Марине Адамович всем публикациям Валентины Синкевич в журнале давался зеленый свет. И второй момент. Валя любит помогать молодым, начинающим литераторам. Не счесть тех, кого Валентина Синкевич приветила и напечатала в своих «Встречах». Охвачены альманахом были практически все поэты зарубежья. А сколько было тех, кто у нее дебютировал!

Это сейчас Валентина Синкевич известна и ценима в зарубежье и в России. Сама она хорошо помнит то время, когда ее имя не упоминали в критических статьях, критики писали о ней и таких, как она, «и др.». В том, как она рассказывает об этом, как произносит «и др.», слышна горечь. Тогда поддержка читателей и критики была ей нужнее, чем сейчас.

Стихи приходят обычно в раннем возрасте. И хотя печататься Валя начала поздно, это не значит, что раньше у нее стихи не случались. Уверена — случались. Вот нашла сейчас в ее очерке «Впервые о себе», что стихи она пишет лет с десяти. Поэтическая система не придумывается, это органика, поэт пишет, «как он дышит», по слову Окуджавы. И когда говорят, что поэзия Валентины Синкевич «иностранная», что ее строфика взята у американских поэтов, мне это кажется шуткой. Есть ли у этих людей слух? Валины стихи, по-моему, намного ближе к народным стихам и песням, чем к иностранным образцам. Что до неровного ритма, не помещающегося в силлабо-тонические схемы, то дольник давно уже прижился в России. К тому же народный стих тоже часто не ровен и не обладает ритмической регулярностью.

Вот беру стихотворение из ее сборника 2004 года «На этой красивой и страшной земле». В нем как раз о «чужестранной ноте». Валя мне говорила, что со временем от бесконечного повторения, что ее стихи «нерусские», она сама стала находить эти ноты в своих стихах.

Что сказать о своем житье?  
 Да, к небоскрегам привыкла.  
 И даже в русском моем нытье  
 чужестранная нота выпукла.  
 Я чужбинную ноту пою —  
 насквозь, надрывно и томно  
 в небоскребно-бетонном раю —  
 птицей на ветке темной.  
 Так пою, что не знаю сама —  
 где я? Откуда я?

Только пыль да ковыль,  
на дорогу сума...  
Эх, не сойти бы с ума,  
в русский платок плечи кутая.

Привычка к небоскрегам не мешает ей сравнить себя с птицей на ветке. И поет она вовсе не «чужестранную ноту», а «чужбинную». И в ней, в этой чужбинной ноте, живет птичья неприютность там, где для других рай. В этом раю, застроенном бетоном и закрывающем небо, человеку трудно понять — где он и откуда. Трудно? Тогда откуда взялись эти «пыль да ковыль», «на дорогу сума»? Это же все народные поэтические образы, это же все усвоено в русско-украинском детстве. Да, на чужой земле, в стране чужого языка и непривычных домов-небоскребов можно «сойти с ума». Но не даст, не даст сойти с ума этот вполне определенно названный «русский платок», эта полученная в детстве прививка русского языка, русской литературы и русской природы.

У этой поэтессы свое лицо, а какого она ранжира и ряда — неважно. Вот пишет сама, что не первого:

В тот первый ряд — нет, не иду,  
другие за меня прильнут к светилам.  
Тружусь я в одиноком, но в своем саду —  
все остальное — не по силам.  
Да этот первый ряд — каприз и спесь  
в стихе развязном и убогом.  
А я ведь яблоневого цвет и песнь  
прошу у сада и у Бога.

Две последние строчки — первоклассные. *А я ведь яблоневый цвет и песнь / Прошу у сада и у Бога.* И опять она соединяет свое бытие с бытием природы. Теперь уже не с птичкой, а с яблоней.

Есть у Валентины Синкевич одно очень сильное стихотворение. Оно называется «Портрет» и, как мне кажется, имеет под собой вполне жизненную основу. Правильно сказал Некрасов — и его высказывание приложимо далеко не только к политике, но и к искусству: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Если произведение искусства имеет глубинную подоснову, если художник шифрует в нем какие-то важные для него, сокровенные мысли, то воздействие такого произведения на аудиторию возрастает неизмеримо. И это при том, что обычно единого ключа к такому произведению нет, каждый сам его подбирает, вкладывая в прочитанное или увиденное свой смысл. Сказанное можно отнести к «Поэме без героя» Анны Ахматовой, к «Зеркалу» Андрея Тарковского. То же скажу и о «Портрете» Валентины Синкевич. Приведу это стихотворение целиком:

## ПОРТРЕТ

Я насильно вдвинута в эту тяжелую раму.  
Я красивым пятном вишу на стене.

Здесь я переживаю старинную драму —  
в этой комнате, в этом городе, в этой стране.

Меня создал художник, списывая с нарядной дамы —  
мертвой, только говорить и двигаться умела она.  
А я живая. С понимающими и видящими глазами,  
но на безмолвие и неподвижность обречена.

Кто дал ему право на это, дал живые тона и краски?  
Знает ли он, как кровь моя кипит на холсте?  
Он при мне обо мне говорил нелепые сказки  
про любовь, про искусство, о недосыгаемой их высоте.

Все это бред. Сам художник не верил в это.  
Был он жесток и лжив. Но умел творить чудеса.  
Вот и создал меня. Я живу — которое лето!  
Я смотрю на все. Не в состоянье закрыть глаза.

Я клянусь ему, ночью не давая ему покоя.  
Он кошмарные видит сны, предо мной ощущая вину.  
Я — его вдохновенье, двигаю его послушной рукою...  
Все же он спит, а я никогда не усну.

Мне годами висеть в этой тяжелой раме.  
Он умрет, а я еще долго буду жива,  
сотворенная им в трепетной красочной гамме,  
с неподвижной рукой, лежащей на кружевах.

Здесь на поверхности два героя — портрет и художник. Они в антагонистических отношениях. Если художник говорит про любовь, искусство и недосыгаемую их высоту, то портрет называет все это бредом и нелепыми сказками. Женщина на портрете не верит своему творцу, разочарована, видит его насквозь. Но при этом названный ею «жестоким и лживым» создатель портрета умеет творить чудеса, он создал чудо — живой женский портрет, которому суждено его пережить.

Чем вызвана такая сильная неприязнь портрета к тому, кто его создал? Не замешано ли тут третье лицо, а именно — нарядная дама, названная «мертвой», при том, что она умеет говорить и двигаться? И почему она «мертвая»? Не художник ли отнял у нее силы? Не вдохнул ли ее человеческую жизнь в свое творение, вдвинув живую душу в тяжелую раму? Кажется, что сложные взаимоотношения этих троих и составляют внутренний сюжет стихотворения и его загадку. Впрочем, повторю: у этих стихов нет единого ключа.

У Вали много о музыке и картинах. Любовь к музыке имеет начало в детстве. Родители музыку любили, отец пел, старшая сестра Ирина играла на фортепьяно, а Валя, младшая, пела под ее аккомпанемент. Что до живописи, то Валя всю жизнь была окружена художниками. Даже первый ее муж, будучи медиком-анатомом, занимался рисованием. Потом близким на долгие годы человеком стал для нее художник Владимир Шаталов. Вокруг нее и Шаталова группировались художники Сергей Бонгардт и Сергей Голлербах. Все трое — Шаталов, Бонгардт и Голлербах — «баловались» стихами и печатались в поэтическом альманахе «Встречи».

Уже давно я знаю, что Валина любимая картина — портрет Джиневры де Бенчи Леонардо да Винчи. Много раз она навещала ее в Национальной галерее в Вашингтоне, вглядывалась в ее черты. Есть легенда, что князья лихтенштейнские, прежние владельцы шедевра, продали его, чтобы прокормить оказавшихся после войны на территории княжества разбитые части Национальной русской армии вермахта. На самом деле два эти события никак не связаны между собой. Картина была продана не после войны, а много позже, в 1967 году.

Портрет Джиневры был известен мне по репродукциям. Флорентийка, поэтесса, гордая, холодная, с узкими глазами... Над головой — ветки можжевельника. Красива какой-то странной лунной красотой, серьезна, печальна, губы сомкнуты — нет и следа полуулыбки Джоконды. Но загадка, бесспорно, есть.

О чем она думает? Почему так грустна? Портрет бесценен, но известно, что американцы заплатили за него князю Лихтенштейну пять миллионов долларов. Считается, что сумма громадная. Всего-то пять миллионов за то, что не имеет цены.

Стихотворение «Ginevra de Benci» в Валином сборнике предшествует «Портрету»:

Слабые крылья твоей улыбки  
 сложены: надежды на возвращение зыбки.  
 Круглое зеркало натюрмортной луны  
 ловит слухи, которыми полны  
 дом, и город, и палуба корабля.  
 Глаза глядят, будто бы земля  
 вписывается в темный мрамор колонн.  
 В ее улыбке стон  
 кисти твоей, Мастер.

Хочется разгадать метафору: «крылья твоей улыбки сложены». О чем это? Может, о том, что нельзя этой прекрасной даме птицей улететь в родные края? Ее привезли сюда, в чужую страну, в чужой город — и «надежды на возвращение зыбки»? В этом случае речь идет не о самой Джиневре, а именно о «портрете», совершившем свое путешествие из Италии в Лихтенштейн, а затем в Америку. Снова, как и в стихотворении «Портрет», мы имеем дело с ожившим — благодаря чудотворцу-художнику — произведением искусства.

Все четыре катрена стихотворения кончаются обращением к Мастеру. Но в первом есть обращение к самой Джиневре. Что-то очень личное спрятано в этих словах:

Не улыбайся, не плачь, будь достойной  
 красок, которыми спел тебя Мастер.

Не улыбайся, не плачь... Два года назад, приехав в Вашингтон, я сразу же отправилась в Национальную галерею искусств, а там первой картиной, к которой я устремилась, была она, Джиневра де Бенчи.

Светлая, златокудрая, спокойная, ушедшая в свои мысли мадонна с узкими глазами и губами без улыбки. Однако как похожа... Эта мысль пришла в голову внезапно. Я вдруг увидела, что эти два портрета чем-то похожи. Их типажи тянутся друг к другу через столетия. Две женщины-поэтессы, две гордые неулыбчивые красавицы... «Не улыбайся, не плачь, будь достойной / красок, которыми спел тебя Мастер».

Купленную в галерее репродукцию Джиневры в тот же вечер я отослала Вале.